

Александр Восьмой



**Песня Голодной
Горы**

Александр Восьмой

Песня Голодной Горы

<https://litres.ru/74420832>

SelfPub; 2026

Аннотация

Деревня у подножия горы Фудзи. Зима. Сорокодневная метель отрезала поселение от мира. Когда снегопад стихает, жители находят на пороге храма девочку — босую, в белом кимоно, с открытыми глазами, в которых нет зрачков. Она не ест. Не спит. Не моргает. Но каждую ночь — напевает мелодию, после которой кто-то из жителей исчезает. Остаётся лишь влажный след на tatami, ведущий к двери храма. Сорок дней метель не выпускала деревню из зубов. Сорок ночей ветер выл так, что лёд на ставнях покрывался трещинами, похожими на лица. На сорок первый день снег перестал — как человек, который наконец-то закрыл рот. И в наступившей тишине старый монах Тэруо слышал: за стенами храма кто-то дышит...

Александр Восьмой

Песня Голодной Горы

Глава 1. Сорок безмолвных рассветов

Метель началась в час Обезьяны — когда солнце уже катилось к вершине Фудзи, orange и бесполезное, как монета, которую нельзя потратить.

Первые снежинки были большими, ленивыми, невинными. Они ложились на плечи рыбака Мори, который чинил сеть у порога своего дома, и таяли тут же — как будто приходили только чтобы посмотреть на него и уйти. Мори стряхнул их, не поднимая головы. Снег в декабре у подножия Фудзи — это как дыхание: странно, когда его нет, но никто не удивляется, когда оно есть.

К вечеру снег перестал таять.

К ночи — перестал быть снегом.

Он стал стеной. Белой, плотной, без единой щели, как будто кто-то взял мир и замазал его мелом. Ветер пришёл не от горы — он пришёл с горы, и в этом было что-то неправильное, потому что ветер у Фудзи всегда дует к вершине, снизу вверх, как молитва. В эту ночь он дул сверху вниз. Как приговор.

Старый монах Тэруо стоял у окна храма Косэндзи и смотрел.

рел, как снег заглатывает деревню. Дом за домом. Крыша за крышей. Фонарный столб на перекрёстке — последний, он погас в полночь, и Тэруо запомнил этот момент, потому что в том, как угасал фонарь, было что-то человеческое: он мигнул три раза, как человек, который хочет что-то сказать, но не успевает.

Потом — белое.

Только белое.

Первый день деревня встретила молча.

Это было нормально. Зимой у подножия Фудзи всегда тихо — дорога к ближайшему поселению, Умасиба, проходит через перевал, а перевал с ноября по март принадлежит не людям, а горе. Снег отрезает. Снег возвращает. Так было всегда. Тридцать лет — сколько Тэруо помнил себя в Косэндзи — каждое лето дорога открывалась, и каждое лето закрывалась, и деревня жила в этом ритме, как сердце, которое бьётся медленно, но ровно.

Но на третий день староста Горо пришёл к храму и сказал: — Она не должна была дойти до нас так рано.

Горо был человеком прямым и неразговорчивым. Он носил две шапки — одну поверх другой, потому что считал, что одна шапка — это для горожан, которые мёрзнут от собственных мыслей. Он сказал «она» — не «метель», не «снег», а «она», и Тэруо заметил это, но ничего не сказал,

потому что сам думал о метели в женском роде, и не мог объяснить почему.

На пятый день занесло дорогу до Умасиба полностью. Это было ожидаемо. Неожиданным было то, что снег лежал стеной не только на перевале — он лежал стеной везде. Вокруг деревни. Со всех сторон. Ровной, почти вертикальной стеной, как будто его налили в форму. Тэруо вышел к краю деревни и увидел: следы, которые он оставил утром, — засыпаны, но не ветром. Снег лёг *сверху*, ровным слоем, без единой дуги, без единого гребня, которые всегда оставляет ветер. Как будто кто-то аккуратно засыпал его следы лопатой.

— Метель не делает так, — сказал Тэруо Горо.

— Я знаю, — сказал Горо.

Они стояли рядом и смотрели на стену. Оба знали. Ни один не сказал.

На восьмой день пропал звук.

Не весь. Колокольчик у храма ещё звенел. Двери ещё скрипели. Но звуки стали плоскими, как рисунки на бумаге. Тэруо ударил в гонг — звук был, но он никуда не ушёл. Он стоял в воздухе, как столб, и через мгновение растворился, не оставив эха. Деревья не скрипели. Снег не хрустел под ногами — он всасывал шаги, как рис всасывает воду.

Дети молчали. Это было самое странное. В деревне осталось четверо детей — двое мальчиков, две девочки, от че-

тырëх до девяти лет — и обычно зима загоняла их в дома, где они шумели, дрались, плакали, смешили друг друга. На восьмой день они сидели у окон и смотрели на снег. Не играли. Не говорили. Просто смотрели. Их матери говорили: они испуганы. Их матери говорили это так, как будто сами верили, но не вполне.

Тэруо попробовал поговорить с младшим — четырёхлетний Рэн, сын кузнеца Синады. Рэн сидел на полу, у окна, и смотрел. Его глаза были открыты и неподвижны. Тэруо сел рядом и сказал:

— Рэн-кун, что ты видишь?

Рэн не повернулся. Его губы шевельнулись — беззвучно, как у рыбы подо льдом.

— Белое, — сказал он.

Тэруо ждал. Рэн сказал:

— Белое смотрит.

На двенадцатый день лёд на ставнях пошёл трещинами.

Тэруо заметил первым — потому что смотрел на ставни храма каждое утро, и каждое утро лёд был гладким, как стекло, молочно-белым, без рисунка. На двенадцатое утро он увидел трещины. Они расходились от центра — тонкие, ветвистые, как корни дерева, и Тэруо сначала не понял, что его беспокоит, а потом понял: трещины складывались в формы. Не в рисунки — в формы. В линии, которые можно бы-

ло принять за лица, если смотреть быстро, и которые переставали быть лицами, если смотреть внимательно. Как будто лёд хотел что-то показать, но не решался.

Тэруо соскоблил лёд. На следующее утро трещины вернулись — другие, но с тем же выражением, если можно назвать выражением то, что не было ни глазами, ни ртом, ни носом, но чем-то, что знало, что это — лицо.

Он перестал скоблить на четырнадцатый день. На пятнадцатый — трещины на ставнях соседнего дома сложились в профиль, который Тэруо узнал. Это было лицо его наставника, монаха Дзэнкая, умершего семнадцать лет назад. Тэруо смотрел на него долго. Лёд смотрел в ответ.

На шестнадцатый день он попросил всех не смотреть на ставни. Люди послушались. Но лёд смотрел на них и без их разрешения.

К двадцатому дню деревня забыла, какого цвета небо. Оно было белым. Всегда белым. Не серым, не мутным — белым, ярким, как лист бумаги, на котором не написано ни одного слова. Солнце не было видно, но свет был — ровный, без источника, без направления, как будто свет шёл отовсюду и ниоткуда. Тени исчезли. Тени — исчезли. Это было то, чего Тэруо не мог объяснить и не пытался: в мире, где нет теней, вещи перестают быть трёхмерными. Они становятся плоскими. Дом — плоский. Дерево — плоское. Человек —

плоский. Тэруо поднимал руку и видел: рука — плоская, как вырезанная из бумаги, и только тень под мышкой, тонкая, едва заметная, напоминала, что у руки есть толщина.

К двадцать второму дню люди начали говорить шёпотом. Не потому, что боялись быть громкими — потому, что громкие звуки исчезали. Голос, сказанный в полный голос, не долетал до собеседника. Он рассыпался на полпути, как снежинка, которую бросили в ветер. Шёпот — долетал. Шёпот был сильнее крика. Это было первое, что Тэруо записал в дневнике, который начал вести на двадцать третий день, на обратной стороне счётной книги, одолженной у Горо.

«День 23. Голос не держится. Шёпот держит. Тени нет. Лёд на северном окне сложился в лицо ребёнка. Не Рэн. Другое. Незнакомое. Улыбается».

На двадцать пятый день умерла старая Фудзико.

Ей было восемьдесят девять лет. Она была самой старшей в деревне — помнила землетрясение 1923 года, помнила голод, помнила, как её мать рассказывала ей о временах, когда по склонам Фудзи ходили ёкаи и гора была живой, не спящей, не мёртвой, как теперь. Фудзико лежала в своём доме, укутанная в пять одеял, и не дышала. Рядом — миска риса, нетронутая. Рядом с миской — тарелка с солью. Фудзико сыпала соль на тарелку каждое утро и каждое утро говорила: *«Чтобы горы не голодали»*.

Тарелка была пуста.

Соль исчезла. Не просыпана, не рассыпана — исчезла. Тарелка была чистой, как из печи. Тэруо поднял её, перевернул и увидел на обратной стороне — на обратной стороне, которая лежала на татами, — отпечаток. Маленький. Как от губ.

Горо сказал: старуха умерла во сне, хвала богам. Тэруо не сказал ничего. Он забрал тарелку и принёс её в храм. Поставил на алтарь. На следующее утро тарелка была тёплой. Не от огня — от чего-то другого. Тёплой, как кожа.

«День 26. Фудзико умерла. Тарелка тёплая. Соль — нет. Кто-то съел её. Кто-то поцеловал тарелку снизу. Я не знаю, что это значит, но помню слова Дзэнкая: "Гора ест всё, что оставляют ей. Оставляют ей — всё"».

На тридцатый день Тэруо понял, что метель не стихнет.

Не потому, что снег шёл сильнее — он шёл так же, ровно, как дыхание спящего. Но потому, что тишина стала глубже. На тридцатый день Тэруо не слышал собственного сердца. Он прижал ухо к груди — ничего. Он приложил пальцы к шее — пульс был, ровный, спокойный, но беззвучный, как будто кровь текла без участия тела. Он попробовал уронить чашку. Чашка разбилась — но беззвучно, как будто осколки были нарисованы.

В этот день Рэн, четырёхлетний сын кузнеца, сказал матери:

— Она ждёт.

— Кто ждёт? — спросила мать.

— Белое, — сказал Рэн. — Оно ждёт, когда мы откроем дверь.

— Мы не откроем, — сказала мать.

— Она откроет сама, — сказал Рэн и вернулся к окну.

Мать пришла к Тэруо. Тэруо записал:

«День 30. Рэн говорит: "Она откроет сама". Он говорит "она". Горо говорил "она". Я думаю "она". Метель — она. Гора — она. Голод — он. Но то, что за стеной снега — оно женского рода. Почему? Я не знаю. Я боюсь ответа».

На тридцать пятый день Тэруо перестал спать.

Не потому, что не хотел — потому что не мог. Закрывал глаза — и видел. Видел склон Фудзи, засыпанный снегом, и на склоне — следы. Босые. Маленькие. Детские. Они шли от вершины вниз, к деревне, и снег не засыпал их, не заносил, хотя всё вокруг было замечено. Следы были свежие, как будто оставлены минуту назад, и Тэруо понимал во сне, что следам нельзя быть свежими, потому что метель идёт тридцать пять дней и никакой след не переживёт и часа. Но следы — свежие. Идут. Не исчезают.

Он открывал глаза. Потолок. Тёмные балки, покрытые копотью от свечей, которые он жёг каждый вечер, хотя свечи гасли, как будто задутые. Он закрывал глаза — следы. От-

крывал — потолок. Закрывал — следы. Открывал — потолок.

На тридцать седьмой день он закрыл глаза и увидел, что следы остановились. Они остановились у порога храма. Косэндзи. Его храма. И рядом со следами, на снегу, лежал предмет. Маленький. Белый. Он не мог разглядеть — сон не позволял подойти ближе — но он знал, что это. Он знал так, как знает человек, который всю жизнь жил у моря, что волна, которая идёт от горизонта, — не волна, а цунами. По цвету. По форме. По тому, как она не двигается, как другие, а идёт ровно, как стена.

Это было кимоно.

Детское кимоно. Белое, как снег, как бумага, как лёд на ставнях, на котором больше не было лиц — потому что лёд растаял на тридцать шестой день, и за льдом не было ничего. За льдом — не было стекла. За стеклом — не было мира. За окном — белое. Только белое. И это белое — дышало.

Тэруо записал последнюю запись перед сорок первым днём:

«День 38. За окном — нет. Там нет мира. Там — рот. Рот, который закрылся вокруг нас и держит. Мы — во рту. Мы — во рту уже тридцать восемь дней. Дзэнкай говорил: "Гора ест медленно. Она не кусает. Она обнимает. А потом сжимает". Мы — внутри. Метель — не метель. Метель — это челюсти, которые сомкнулись. И когда они разомкнутся — это не значит, что нас отпустят. Это значит, что

мы — внутри глубже».

На сороковой день Тэруо не делал записей.

Он сидел у окна и смотрел на снег. Снег шёл. Ровно. Без перерыва. Без единой паузы, без единого вздоха. Он шёл, как кровь по жилам, — не задумываясь, не уставая, не останавливаясь. Тэруо думал: если метель — это рот, то снег — это слюна. И мы — внутри. И мы — медленно — перевариваемся.

На сороковой день он перестал бояться. Не потому, что страх прошёл — а потому, что страх стал воздухом, которым он дышал, и, как воздух, перестал ощущаться. Он был везде. Он был в каждом вдохе, в каждой глотке риса, в каждом прикосновении одеяла. Он стал нормой. И это — было самым страшным.

На сорок первый день снег перестал.

Тэруо не сразу понял. Он сидел у окна — как всегда, как последние двадцать дней — и смотрел на белое. И в какой-то момент понял: белое перестало двигаться. Снежинки, которые падали безостановочно сорок дней и сорок ночей, — повисли. Не в воздухе — в пространстве. Они висели, как будто кто-то нажал на них пальцем и сказал: стойте. И они остановились. И не падали.

А потом — начали таять. Не падая на землю — в воздухе. Они таяли, как свечи, и от них оставались мокрые точки, которые тут же высыхали. Снежинки исчезали. Одна за другой. Скоро — десятками. Сотнями. Воздух очищался, как зеркало, с которого стирают пар.

И в наступившей тишине — в тишине, которая была оглушительнее любого звука, потому что в ней не было ничего, ни ветра, ни снега, ни дыхания, — Тэруо услышал.

За стенами храма. За деревянной дверью, за каменными ступенями, за засовом, который он сам задвигал каждый вечер сорок дней.

Дыхание.

Тихое. Ровное. Детское.

Как будто кто-то маленький сидел на ступенях и ждал. Ждал сорок один день. Ждал, пока метель — нет, пока *она* — откроет рот. Не чтобы впустить. Чтобы выпустить.

Тэруо встал. Ноги не слушались — не от слабости, от того, что пол был тёплым. Пол был тёплым. За сорок дней метели пол в храме не был тёплым ни разу. Тэруо опустил глаза. Пол был мокрым. Не от снега. От чего-то другого. Влага шла от двери — тонким, ровным ручейком, как слеза, которая ползёт по щеке очень медленно, потому что тот, кто плачет, не умеет плакать.

Ручеек тянулся к алтарю.

Тэруо посмотрел на алтарь. Тарелка Фудзико — та самая, с отпечатком губ на обратной стороне — стояла на месте.

Она была мокрой. На ней — капля. Одна. Крупная. Тёплая. Тэруо не пошёл к двери.

Он знал, что за дверью — кто-то. Он знал, что этот кто-то — маленький. Он знал, что этот кто-то — ждал. Он знал всё это так, как знает человек, который сорок дней жил во рту чего-то огромного и непостижимого, что рот — открылся. И то, что было внутри рта, — теперь стоит на пороге.

Тэруо подошёл к двери. Положил руку на засов. Засов был тёплым. Дерево было тёплым, как живая кожа, как рука, которая держит твою руку.

Он отодвинул засов.

Дверь открылась — сама, тихо, без скрипа, без звука, как будто петли были смазаны чем-то мокрым.

На ступенях храма, на снегу, который уже почти растаял, но ещё держал форму, как тело, которое ещё не остыло, — сидела девочка.

Босая. В белом кимоно. С открытыми глазами, в которых не было зрачков. Глаза были — белые. Полностью. Как два куска льда, которые никогда не были водой, а всегда были льдом, и всегда будут льдом, и в этом льду — ничего, кроме холода, который смотрит.

Она не дрожала. Её босые ноги — на снегу, на льду — были розовыми. Не от холода. От тепла. Как будто снег, на котором она сидела, был тёплым. Как будто *она* была тёплой. Как будто всё вокруг неё — было тёплым, потому что она — пришла, и зима, которая держала деревню сорок дней, —

была не зимой, а ожиданием.

Её ожиданием.

Она смотрела на Тэруо. Глазами без зрачков. И Тэруо — который сорок дней не боялся, потому что страх стал воздухом, — задохнулся.

Потому что в этих глазах, пустых, белых, мёртвых, — он увидел себя.

Не отражение. Себя. Маленького. Молодого. Стоящего на склоне Фудзи, в снегу, босиком, с открытым ртом. И из его рта — шла мелодия. Тихая. Длинная. Как нить, которую вытягивают из кокона. И на конце этой нити —

он не увидел, что было на конце нити.

Потому что девочка моргнула.

Она моргнула — один раз, медленно, как рептилия, как что-то, что учится быть человеком, — и видение исчезло.

И Тэруо понял, что всё, что было до этого момента, — сорок дней метели, сорок ночей без сна, трещины на льду, следы во сне, тёплая тарелка, — было не началом.

Было приглашением.

А теперь — гостя пришла.

«Когда гора откроет рот — не давай ей петь.»

— *Свиток храма Косэндзи, сожжён, не подлежит восстановлению.*

Девочка сидела на ступенях и смотрела на Тэруо. Тэруо стоял в дверях и смотрел на девочку. Между ними — порог. Порог — мокрый. Влага поднималась от ступеней, обнимала дерево, ползла внутрь храма. Тэруо понимал: если он не пустит её — она всё равно войдёт. Если он впустит — она войдёт быстрее. Разницы — нет. Гостья, которая пришла из рта горы, не нуждается в разрешении. Она нуждается в двери, которая открыта, потому что так — вежливее.

Тэруо шагнул в сторону.

Девочка встала. Она двигалась — не как ребёнок, не как взрослая, не как живая. Она двигалась, как мелодия, которую кто-то играет на инструменте, который не слышно. Плавно. Без пауз. Без усилия. Её босые ступни касались снега — и снег таял. Таял не от тепла. Таял, как будто снег — забывал, что он снег.

Она вошла в храм.

Села на татами — там, где раньше сидел Тэруо. Ровно. Прямо. Глаза — открыты. Неподвижны. Руки — на коленях. Кимоно — белое, без единого пятна, без единой складки, как будто не касалось ни снега, ни тела, а было нарисовано на воздухе.

Тэруо закрыл дверь. Засов — задвинул. Руки дрожали. Дерево — было холодным. Холодным, как должно быть. Холодным, как дерево.

Он повернулся к ней.

Она не двигалась. Не дышала — Тэруо прислушался и не услышал дыхания, которое слышал минуту назад, за дверью. Здесь, внутри, — тишина. Абсолютная. Тишина, в которой не было даже тишины, потому что тишина — это отсутствие звука, а здесь — было отсутствие чего-то большего. Здесь было отсутствие *присутствия*. Как будто комната — была, а мира за стенами — не было. Как будто храм — стал единственным местом, которое ещё существовало. И в центре этого единственного места —

сидела она.

Тэруо сел напротив. Расстояние — три татами. Достаточно, чтобы протянуть руку и не коснуться. Достаточно, чтобы не чувствовать тепла — если бы оно было.

— Кто ты? — спросил он.

Тишина.

— Откуда ты пришла?

Тишина.

— Что тебе нужно?

Тишина.

Тишина, которая была ответом. Не молчанием — ответом. Тэруо слышал его — не ушами, а чем-то другим, чем-то, что не имело названия, чем-то, что появилось в нём за последние сорок дней, пока он жил во рту, пока он дышал страхом, пока лёд на ставнях показывал ему лица мёртвых. Это «что-то» слышало тишину и переводило её, и перевод

был:

«Я — голод. Я пришла из горы. Мне нужно — всё».

Тэруо закрыл глаза. За закрытыми глазами — следы. Босые. Маленькие. От вершины — к порогу. Его порогу. Его храма. К нему.

Он открыл глаза.

Девочка улыбалась.

Не ртом. Не губами. Чем-то, что было на месте, где у людей — рот, но что не было ртом, а было чем-то другим, чем-то, что умело улыбаться, и улыбка эта была самой страшной вещью, которую Тэруо видел за свои семьдесят три года жизни, потому что улыбка была — настоящая. Не злая. Не жестокая. Не насмешливая. Настоящая. Тёплая. Как улыбка ребёнка, который нашёл мать.

Голод, который считает себя любовью, — подумал Тэруо. И всё стало ясно.

Вечером, когда солнце — которого не было видно сорок один день — наконец опустилось за горизонт, и мир, который вернулся так внезапно, как будто его и не забирали, окрасился в цвет, который Тэруо забыл, — в синий, в тёмный, в глубокий, в цвет, который бывает только у неба над Фудзи зимой, когда воздух чист, как стерилизован, —

Деревня увидела.

Тэруо вышел на крыльцо и позвал. Он не кричал — крик

не держался. Он шептал, и шёпот его летел по деревне, как нить, как мелодия, как то, что прилетело из горы, и каждый — каждый — услышал его, потому что шёпот в мире без звука — громче любого крика.

— Идите сюда. Идите все. К храму.

Они пришли. Горо в двух шапках. Кузнец Синада, держащий за руку четырёхлетнего Рэна, который смотрел на храм и молчал. Жена рыбака Мори, Аяме, с запавшими глазами, которые не спали четверо суток. Старый Тэцуру, единственный, у кого был велосипед, — он пришёл пешком, потому что на велосипеде ехать по снегу нельзя, но пришёл с велосипедом, катя его рядом, как собаку на поводке, потому что не умел расставаться с вещами. Остальные — девятнадцать взрослых, четверо детей — все, кто остался, кто пережил, кто не исчез, не умер, не растаял.

Они стояли у ступеней и смотрели.

На девочку.

Босую. В белом. С глазами, в которых не было зрачков. Она сидела на татами, ровно, прямо, как будто её поставили, как статую, как Будду, как бодхисаттву, который пришёл из снега и не знает, как сидеть иначе.

Никто не говорил.

Рэн подошёл первым. Он отпустил руку отца, подошёл к ступеням, поднялся — четыре ступеньки, деревянные, мокрые — и сел рядом с девочкой. Посмотрел на неё. Она не повернулась. Рэн сказал — тихо, так тихо, что только Тэруо,

стоящий ближе всех, услышал:

— Ты пришла.

Девочка не ответила. Но Тэруо увидел: её пальцы — маленькие, белые, лежащие на коленях — шевельнулись. Едва. Как будто хотели коснуться чего-то и не решились.

Аяме, жена рыбака, заплакала. Не от страха — от чего-то другого, от чего-то, что не имело названия, от чего-то, что заставило её сказать:

— Она же замёрзнет. Она же босая. Она же...

Она не закончила. Она сняла с себя верхнее одеяло, тёплое, стёганое, и накрыла им девочку. Осторожно, как накрывают спящего ребёнка, которого не хотят разбудить. Одеяло легло на плечи девочки — и Тэруо увидел, как одеяло намокло. Не от снега. Не от влаги. Оно намокло изнутри, как будто тело под одеялом — таяло, растворялось, исчезало.

Аяме не видела этого. Она видела только ребёнка. Маленького. Босого. В белом кимоно. На снегу. Замерзающего.

Тэруо видел больше.

Тэруо видел, что одеяло намокло, и влага — тёплая, густая, сладковатая на запах — потекла с татами на пол, с пола — к двери, к ступеням, в снег. И снег, на который упала влага, — растаял. Не от тепла. Растаял, как будто забыл, что он снег.

Горо подошёл к Тэруо. Две шапки. Прямой взгляд. Он сказал — шёпотом, как все теперь говорили:

— Что это?

Тэруо ответил — не шёпотом. Он не мог шептать. Он сказал голосом, и голос — впервые за сорок дней — прозвучал. Не рассыпался. Не исчез. Пролетел от рта до уха Горо, как стрела, и Горо отшатнулся, как от удара.

— Не знаю, — сказал Тэруо. — Но она не уйдёт.

— Что делать?

Тэруо посмотрел на девочку. На Рэна, который сидел рядом и молчал. На Аяме, которая плакала. На одеяло, которое намокало. На влагу, которая текла к двери.

— Не знаю, — сказал он снова. — Но сегодня — ночью — не слушайте.

Горо посмотрел на него.

— Не слушайте — что?

Тэруо не ответил. Он смотрел на девочку. На её губы. Губы были закрыты. Неподвижны. Но Тэруо — тем, что в нём появилось за сорок дней, тем, что слышало тишину и переводило её, — уже знал.

Эти губы откроются.

Ночью.

И из них выйдет мелодия.

И после мелодии — кто-то исчезнет.

Тэруо знал это так, как знает человек, который родился у подножия горы и прожил у неё семьдесят три года: гора всегда берёт. Гора всегда голодна. Гора всегда поёт, когда голодна.

А сейчас —

голодна была она.

«Когда гора откроет рот — не давай ей петь.»

Но кто слушает свитки, которые сожжены?

Кто верит монахам, которые мертвы?

*Кто помнит голод, который приходит в белом кимоно,
с глазами без зрачков, с улыбкой, которая теплее любого
огня?*

Никто.

Именно поэтому —

она поёт.

Глава 2. Белое кимоно, белые глаза

Тень девочки лежала не туда.

Это было первое, что заметил Тэруо, когда рассвет протиснулся в щели храма и лёг на татами полосами серого света. Луна ушла, оставив после себя холодный след, а солнце ещё не успело согреться — оно висело над Фудзи бледным, неуверенным пятном, будто само сомневалось, имеет ли право здесь быть. И в этом тусклом, дрожащем свете тень девочки — тонкая, вытянутая, почти прозрачная — тяну-

лась не от неё, а к ней. Не от луны — к луне. Не от солнца — к солнцу. А наоборот. Как будто не свет рождает тень, а тень рождает свет. Как будто мир вывернулся наизнанку, и теперь тьма была источником, а свет — её следом.

Тэруо замер у порога, держа в руках чашку с чаем, который он так и не выпил. Чай остыл ещё на третьей ступеньке, но он не заметил. Он смотрел на девочку — и на её тень.

Она сидела так же, как вчера. Ровно. Прямо. Руки на коленях, пальцы чуть согнуты, будто держат что-то невидимое. Кимоно — белое, безупречно белое, без единой складки, без единого пятна, хотя она сидела на мокром дереве, на льду, на снегу, который таял под ней, как под огнём. Ноги — босые. Кожа на ступнях посинела, но не от холода. От чего-то другого. От того, что холод не мог объяснить. Потому что лёд под её ногами был сухим. Сухим, хотя вокруг всё было мокрым. Снег, который касался её ступней, не таял. Он застыл. Превращался в тонкую корку, прозрачную, как стекло, и на этой корке не было ни одного отпечатка — будто она не касалась земли, а висела над ней, удерживаемая чем-то, что не имело названия.

Вчера жена старосты Рэйко поднесла ей миску риса. Тёплого, сваренного на воде из горного ручья, как делали всегда, когда в деревню приходила беда. Рис пах дымом, солью, травой — запахом дома, запахом жизни. Рэйко держала миску дрожащими руками, наклонилась, почти коснулась коленями пола, и прошептала:

— Съешь хоть немного. Ты же замёрзнешь. Ты же... ребёнок.

Девочка не шевельнулась. Глаза — открыты. Пустые. Без зрачков. Белые, как два куска льда, в которых не было ни отражения, ни глубины, ни тени — только бесконечная, ровная белизна, от которой хотелось зажмуриться, чтобы не видеть, как она поглощает свет, как вытягивает его из мира, как делает воздух тоньше, прозрачнее, холоднее.

Рэйко поднесла миску ближе. Почти коснулась губами края, как будто хотела подуть на рис, согреть его своим дыханием. И в этот момент девочка посмотрела на неё.

Не на миску. Не на руки. На лицо. Прямо в глаза. И Рэйко отшатнулась. Не от страха — от того, что в этом взгляде не было ничего. Ни любопытства, ни голода, ни холода, ни тепла. Ни человека. Ни ребёнка. Ни существа. Только пустота, которая смотрела и видела всё — и ничего не хотела.

Миска выпала из рук Рэйко. Рис рассыпался по ступеням, зёрна покатались вниз, стуча по дереву, как капли дождя. Девочка не моргнула. Не шевельнулась. Даже когда одно зерно упало ей на колено и осталось там, белое на белом, как слеза на снегу.

К ночи её оставили в храме. Укутали в три одеяла — толстые, стёганные, пахнущие домом, дымом, жизнью. Тэруо сам укладывал их, осторожно, как укладывают спящего ребёнка, хотя знал, что она не спит. Он чувствовал это кожей, затылком, всем телом, которое за сорок дней метели научилось

чувствовать то, что нельзя увидеть. Она не спала. Она была. И это «была» было тяжелее любого сна, любого бодрствования, любого дыхания.

Он сел напротив, на татами, и смотрел на неё, пока глаза не начали слипаться. Он не хотел спать. Он боялся спать. Боялся увидеть во сне то, что уже было здесь, в комнате, на расстоянии трёх татами. Боялся, что сон и явь поменяются местами, и он проснётся — а девочка останется, а деревня исчезнет, а Фудзи станет ртом, который глотает небо.

Когда он наконец закрыл глаза, он услышал её.

Не голос. Не слова. Мелодию.

Тонкую, длинную, как нить, которую вытягивают из кокона. Пять нот. Повторяющиеся. Бесконечные. Они не звучали в ушах — они звучали внутри. В груди, в горле, в костях. Как будто мелодия была не звуком, а состоянием, как холод, как голод, как ожидание. Она заполняла его, вытесняя мысли, воспоминания, страх, оставляя только ритм — ровный, спокойный, безжалостный.

Он открыл глаза — и увидел, что одеяла сложены. Аккуратно. Ровно. Края подвёрнуты, углы выровнены, как в доме, где ждут гостей. Девочка сидела в том же положении. В том же кимоно. В той же позе. Только тень её лежала не туда.

И тогда он понял: она не спала. И она не была ребёнком. И она пришла не из деревни. И не из метели. Она пришла из горы. Из той части горы, где нет снега, нет ветра, нет времени. Из той части, где гора — не камень и лёд, а голод, кото-

рый научился ждать.

Утром деревня собралась у храма.

Горо пришёл первым. В двух шапках, с посохом, который он брал только в важные дни. За ним — кузнец Синада, хмурый, с руками, покрытыми шрамами и мозолями, как картой его жизни. За ним — рыбаки, женщины, дети. Все, кто остался. Все, кто пережил метель. Все, кто ещё верил, что мир — это место, где можно жить, где можно дышать, где можно надеяться.

Они стояли у ступеней и смотрели на девочку. Кто-то шептал молитвы. Кто-то — ругательства. Кто-то молчал, потому что слова застревали в горле, как кости.

Тэруо вышел к ним. Он хотел сказать что-то. Успокоить. Объяснить. Но слова не шли. Они были слишком маленькими для того, что стояло на ступенях. Слишком человеческими. А она — не была человеком.

— Что делать? — спросил Горо. Его голос звучал странно — тихо, но твёрдо, как лезвие, которое ещё не коснулось кожи, но уже знает, что сделает разрез.

Тэруо не ответил. Он посмотрел на девочку. На её пустые глаза. На сложенные одеяла. На тень, которая лежала не туда. И понял: они уже сделали то, что должны были сделать. Они увидели. Они заметили. Они испугались. А значит — она уже начала петь. Даже если они не слышали мелодии. Даже

если она звучала только внутри, в костях, в крови, в памяти. Она пела. И кто-то уже исчез. Не физически. Пока нет. Но в каком-то другом смысле. В смысле, который страшнее смерти. В смысле, когда человек перестаёт быть собой и становится частью чего-то большего. Чего-то голодного.

— Нужно уйти, — сказал кто-то из рыбаков. Голос дрожал. — Нужно увести детей. Нужно...

— Куда? — спросил Тэруо. Он не повысил голос. Он даже не посмотрел на говорившего. Он смотрел на девочку. — Перевал закрыт. Метель ушла, но гора не отпустила нас. Она просто... сменила хватку.

— Тогда нужно запереть её, — сказал Синада. Его кулаки сжимались и разжимались, как будто он всё ещё держал молот. — Запереть. Связать. Сделать так, чтобы она не могла... петь.

Тэруо покачал головой.

— Она не поёт голосом, — сказал он. — Она поёт... собой. Своим присутствием. Своей пустотой. И если мы закрём её, она будет петь громче.

Никто не спросил, откуда он это знает. Никто не усомнился. Потому что все чувствовали. Все слышали эту мелодию — ту, что звучит не в ушах, а внутри. Ту, что заставляет сердце биться в такт чему-то древнему, холодному, бесконечно-му.

День тянулся медленно, как смола. Солнце поднималось, но не грело. Тени становились длиннее, но не темнели. Они оставались серыми, плоскими, как рисунки на бумаге. И только тень девочки была другой. Она двигалась. Не вслед за солнцем. А навстречу ему. Как будто она была источником света, а не его жертвой.

Дети не играли. Они сидели у окон, смотрели на храм и молчали. Рэн, четырёхлетний сын кузнеца, подошёл к ступеням и сел рядом с девочкой. Не касаясь. Просто рядом. Он смотрел на неё долго, не моргая, как будто пытался увидеть то, что было скрыто за белой пустотой её глаз.

— Ты холодная? — спросил он тихо.

Девочка не ответила.

— У тебя нет мамы? — спросил Рэн.

Тишина.

— Я могу дать тебе одеяло, — сказал мальчик. — У меня есть. Тёплое.

Он снял с себя маленькое стёганое одеяло, которое мать сшила ему прошлой зимой, и протянул его девочке. Она не взяла. Но когда одеяло легло рядом с ней, оно намокло. Не от снега. Не от воды. От чего-то тёплого, густого, сладковатого на запах. Рэн понюхал край одеяла и сморщился. Запах был странным. Как старый мёд. Как забродившие фрукты. Как что-то, что когда-то было живым, а теперь — нет.

Мальчик отёрнул руку. И впервые за весь день — заплакал. Тихо, без всхлипов, как плачут те, кто уже знает, что

слёзы ничего не изменят.

Тэруо поднял его на руки, прижал к себе, чувствуя, как дрожит маленькое тело, и посмотрел на девочку. Она всё так же сидела. Всё так же смотрела. Всё так же не моргала.

И в этот момент он понял: она не ждёт. Она выбирает.

К вечеру деревня разошлась. Кто-то пошёл домой. Кто-то остался у храма, будто надеялся, что если будет смотреть достаточно долго, то увидит, как она станет обычной девочкой. Как в сказках, где проклятия снимаются от взгляда доброго сердца, от слова, сказанного вовремя, от поступка, который оказывается правильным.

Но Тэруо знал: это не сказка. Это не проклятие. Это голод. Древний, терпеливый, бесконечный. И он пришёл не за одним человеком. Он пришёл за всеми.

Ночью храм опустел. Только Тэруо остался сидеть напротив девочки. Он не мог уйти. Не потому, что хотел охранять её. А потому, что боялся, что если уйдёт — она последует за ним. И тогда мелодия станет громче. И тогда кто-то исчезнет.

Луна поднялась высоко. Её свет лёг на татами, на кимоно, на белые глаза девочки, и сделал их ещё белее. Ещё пустее. Ещё страшнее.

Тэруо закрыл глаза. Он не хотел видеть. Он хотел только слышать. Слышать тишину. Потому что тишина была чест-

нее света. Тишина говорила правду: девочка здесь. И она не уйдёт. И она будет петь. И кто-то будет слушать.

И когда мелодия началась — тихо, едва слышно, как шелест снега по стеклу, — он не удивился. Он ждал этого. Он знал, что это случится. Он знал, что мелодия — это не звук. Это приглашение. Приглашение стать частью горы. Стать её голосом. Стать её голодом.

Он открыл глаза.

Девочка пела.

Её губы шевелились. Беззвучно. Но он слышал. Все слышали. Каждый в деревне, каждый в храме, каждый, кто ещё мог слышать, — слышал эту мелодию. Она проникала под кожу, в кости, в кровь, в сны. Она говорила: «Приди. Будь со мной. Стань мной».

И кто-то встал.

Кто-то, кто сидел в углу, прижавшись к стене, кто дрожал от холода и страха, кто шептал молитвы и ругательства, кто верил, что всё будет хорошо, если только не смотреть на девочку, — встал. Медленно. Неуверенно. Как человек, который просыпается после долгого сна и не помнит, где он. Он подошёл к девочке. Не к Тэруо. Не к двери. К ней. Остановился напротив. Посмотрел в её белые глаза. И улыбнулся. Не радостно. Не счастливо. Как человек, который наконец-то нашёл то, что искал всю жизнь.

— Я здесь, — прошептал он.

Девочка кивнула. Едва. Почти незаметно. Как будто под-

тверждала: да, ты здесь. Ты пришёл. Ты выбран.

Мужчина опустился на колени. Его руки легли на татами. Ладони прижались к полу. И в тот момент, когда он коснулся дерева, пол под ним стал мокрым. Не от снега. От чего-то другого. От влаги, которая текла не сверху, а снизу. Из-под пола. Из-под земли. Из горы.

Влага поднималась. Обнимала его руки, его колени, его тело. Она была тёплой. Слишком тёплой для зимы. Слишком густой для воды. Она текла, как мёд. Как кровь. Как что-то живое, что хотело быть частью его.

Он не сопротивлялся. Он улыбался.

А потом — исчез.

Не растворился. Не растаял. Не взорвался. Просто перестал быть. В один момент он был — в следующий — нет. Только влажный след на татами. Тонкий, извилистый, как река, которая помнит, куда ей нужно течь. След тянулся к двери. К выходу. К горе.

Тэруо вскочил. Он хотел крикнуть. Хотел остановить. Хотел сделать хоть что-то. Но голос застрял в горле. Потому что он знал: нельзя остановить то, что началось сорок один день назад. Нельзя остановить метель, которая не была метелью. Нельзя остановить гору, которая открыла рот.

Он посмотрел на девочку.

Она больше не пела. Её губы были неподвижны. Глаза — всё так же пусты. Но в них появилось что-то новое. Что-то, чего не было раньше. Что-то, похожее на удовлетворение. На

сытость. На момент, когда голод наконец-то получил то, что хотел.

И тень её — теперь лежала правильно. В ту сторону, куда светила луна.

Как будто она наконец-то стала частью мира.

Как будто теперь она имела право здесь быть.

«Когда гора откроет рот — не давай ей петь.»

Но кто услышит предупреждение, если мелодия звучит внутри тебя?

Кто вспомнит слова, если голод выглядит как ребёнок в белом кимоно?

Никто.

*Именно поэтому —
она поёт.*

Глава 3. Первый мотив

Мелодия началась не в храме.

Она началась в земле.

Тэруо лежал на татами, укрытый тремя одеялами, которые не грели, потому что не могли — тепло в храме умер-

ло три дня назад, вместе с последней свечой, которую он не смог зажечь. Он лежал и слушал тишину, которая была не тишиной, а ожиданием, и ждал, когда ожидание станет звуком. Он знал, что это случится. Он знал с того момента, как увидел тень, лежащую не туда. Тень, которая теперь лежала правильно, как будто первый исчезнувший дал ей на это право — право быть частью мира, быть тенью, как все тени. Он знал, что она будет петь снова. И знал, что кто-то — снова — исчезнет.

Но он не знал, что мелодия начнётся в земле.

Сначала — вибрация. Едва заметная, как дрожь человека, который сдерживает смех. Татами задрожали — не от ветра, не от землетрясения, а от чего-то, что было *под* полом. Что-то двигалось под храмом, под деревней, под снегом — что-то живое, что-то голодное, что-то, что имело ритм. Ритм был медленным, как сердцебиение спящего, и Тэруо сначала принял его за своё — потому что его сердце билось точно в такт. Точно. Без единого отклонения. Как будто не его сердце задавало ритм, а что-то под землёй задавало его сердцу.

Потом — звук.

Не звук. Нот. Одна. Длинная. Вытянутая, как нить, которую тянут из кокона — медленно, ровно, без рывков, без пауз. Нота не имела названия. Она не была до, ре, ми. Она не была звуком, который можно сыграть на сямисэне или флейте, или пропеть голосом. Она была звуком, который можно *стать*. Который не слышат ушами, а слышат костями, ко-

жей, зубами, тем местом внутри черепа, где живут сны. Нота входила в тело, как игла — не больно, но глубоко, и оставляла после себя тонкий, холодный след, как от укола, который ещё не онемел, но уже не болит.

Вторая нота.

Третья.

Четвёртая.

Пятая.

Пять нот. Повторяющиеся. Бесконечные. Они складывались в мелодию — не ту, которую можно запомнить и напеть потом, а ту, которая помнит тебя и поёт *тебя*, когда ты уже не можешь. Мелодия ползла под дверями — не под дверью храма, под *всеми* дверями. Под дверью дома кузнеца. Под дверью дома рыбака. Под дверью дома старосты. Она просачивалась сквозь щели в полу, через трещины в стенах, через замочную скважину, через зазоры между ставнями, как вода, которая ищет путь вниз, только эта вода искала путь — внутрь. В спальни. В постели. В сны.

Тэруо лежал и слушал. Он не мог встать. Не потому что тело не слушалось — потому что тело *не хотело*. Тело хотело слушать. Тело вытянулось, расслабилось, как будто мелодия была массажем, тёплой ванной, колыбельной, которую поёт мать, наклонившись над futon, и её голос — единственное, что есть в мире, единственное, что имеет значение, единственное, что нужно слушать, и всё остальное — неважно, всё остальное — можно отпустить, можно рассла-

биться, можно закрыть глаза и...

Тэруо открыл глаза.

Он сидел. Он не помнил, как сел. Его ноги были на полу — босые, холодные, мокрые. Татами под ними были мокрыми. Влага поднималась от пола, обнимала ступни, ползла выше — к щиколоткам, к коленям, к бёдрам. Тёплая. Густая. Сладковатая на запах. Тэруо посмотрел вниз и увидел: влага текла не из-под него. Она текла *из* него. Из его пор, из его кожи, из его тела, которое — таяло. Не растворялось, не исчезало — таяло, как свеча, как лёд, как снег, который забыл, что он снег.

Он отдёрнул ноги от пола. Вцепился в татами. Пальцы пробили поверхность — соломинки хрустнули, как кости. Он тянул, рвал, кусал губу — до крови, до боли, до чего-то настоящего, что не было мелодией. Боль была настоящей. Боль была его. И боль — спасла.

Мелодия не остановилась. Она продолжала звучать — в стенах, в полу, в потолке, в воздухе, в лунном свете, который лежал на татами полосами, как полосы ткани, как саван. Но Тэруо — больше не слушал. Он слышал. Но не слушал. Разница была тонкой, как лезвие, но именно эта разница — между слышать и слушать — была границей между тем, кто остаётся, и тем, кто исчезает.

Он понял это. И понял, что не все поймут.

В это же время, в доме кузнеца Синады, спал Рэн.

Нет. Не спал. Рэн не спал уже третьи сутки. Он лежал в футоне, укрытый до подбородка, глаза закрыты, дыхание ровное — как у спящего. Но Тэруо знал: Рэн не спал. Рэн слушал. Мальчик, который сказал «белое смотрит» и «она откроет сама», который не моргал, когда смотрел на девочку, который плакал без слёз — Рэн был тем, кого мелодия нашла первым.

Не потому, что он был слабым. Потому что он был открытым.

Дети — открыты. Они не имеют стен, которые строят взрослые: стен из логики, из опыта, из страха, из недоверия. Дети принимают мир целиком, без фильтров, без сомнений. И когда мир — мелодия, которая зовёт, — дети идут. Не потому, что хотят. Потому что не знают, как не идти. Не знают, что можно — не идти.

Рэн лежал в футоне. Мелодия ползла под дверь его комнаты — тонкая, влажная, живая. Она обнимала его, как одеяло. Как мать. Как то, что мать не может дать, но что ребёнок ищет с рождения — чувство, что он не один. Что кто-то — рядом. Что кто-то — знает, где он, и хочет, чтобы он пришёл.

Рэн открыл глаза.

В комнате было темно. Луна не светила — занавески задернуты, ставни закрыты. Но было — видно. Не глазами. Чем-то другим. Рэн видел комнату, как видят сны: без света, без цвета, но с точностью, которая недоступна дню. Он видел

футона. Видел стену. Видел дверь. И видел — за дверью. Не сквозь дверь — *за* ней. Там, в коридоре, в темноте, стояла... нет, не стояла. Текла. По коридору текла мелодия. Она была видимой — для Рэна — как поток воздуха над костром, как марево над дорогой в жару. Она текла, извивалась, ползла по стенам, по потолку, по полу, и там, где она касалась дерева, дерево становилось мокрым.

Рэн встал.

Босые ноги коснулись пола — и пол был тёплым. Тёплым, как тело. Тёплым, как рука, которая держит тебя за пятку, когда ты родился, и не отпускает. Рэн улыбнулся. Он не мог не улыбнуться. Мелодия была — счастье. Мелодия была — дом. Мелодия была — то место, куда ты идёшь, когда устал быть здесь, и хочешь быть там, где тепло, где ждут, где любят.

Он пошёл.

По коридору. Мимо комнаты отца, где Синада спал — по-настоящему спал, с открытым ртом, с храпом, который не мог заглушить никакая мелодия, потому что Синада был из тех людей, которых мелодия не берёт. Не потому, что они сильные. Потому, что они глухие к ней. Глухие не ушами — душами. Синада был глух. Его отец был глух. Его дед был глух. Кузнецы — глухие. Молот отбивает слух. Молот отбивает и мелодию. Синада спал и не слышал, как его сын идёт по коридору. Босой. Мокрый. С улыбкой, которая была не его — которая была мелодии.

Рэн прошёл мимо кухни. Мимо очага, в котором догорал

огонь — последний огонь, который Синада развёл вечером, последний, потому что дрова кончались, потому что метель съела запасы, потому что гора — ест. Огонь горел слабо, как свеча на ветру, и в его свете Рэн — четырёхлетний, босой, в ночной рубаше — выглядел как призрак. Маленький призрак с улыбкой на лице и пустотой в глазах, которая была не его — которая была мелодии.

Он вышел на крыльцо.

Снег — растаял. Не весь. Круг вокруг дома — растаял. Круг — ровный, как нарисованный циркулем, и в этом кругу — мокрая земля, чёрная, блестящая, тёлая, как будто под ней — что-то дышит. Рэн ступил на землю — и она приняла его. Не провалилась. Приняла. Как ладонь принимает ладонь. Как мать принимает ребёнка.

Он пошёл.

Босой. По мокрой земле. По снегу, который таял под его ногами, как будто он нёс в себе огонь, как будто он *был* огнём. Он шёл, и за ним оставался след — влажный, тёмный, как река, которая течёт по суше, не зная, куда ей нужно нести воду, но зная — нужно. Потому что вода — должна течь. Потому что голод — должен есть. Потому что мелодия — должна звать. А ребёнок — должен идти.

Тэруо слышал шаги.

Не ушами. Тем, что в нём появилось за сорок дней. Тем,

что слышало тишину и переводило её. Он услышал шаги — маленькие, босые, мокрые — и они шли не к храму. Они шли *от* дома. К храму. По снегу, который таял. По земле, которая дышала. По воздуху, который был мелодией.

Он вскочил. Ноги — ещё мокрые, ещё тёплые, ещё не его — не слушались. Он бежал, спотыкаясь, падая, поднимаясь, бежал через храм, через зал, мимо алтаря, мимо тарелки Фудзико, которая была тёплой — всегда тёплой — и колотилась о доски, как второе сердце. Он бежал к двери.

Дверь была открыта.

Он не открывал дверь. Он задвинул засов — он помнил, он *помнил*, его руки помнили, пальцы помнили, дерево помнило. Но засов — был отодвинут. Не силой. Не снаружи. Изнутри. Из дерева. Засов выскользнул из паза сам, как кость из сустава, и лёг на пол, мокрый, тёплый, как что-то живое, что устало держаться.

Тэруо распахнул дверь.

Луна стояла высоко — полная, яркая, белая, как глаза девочки. В её свете Тэруо увидел: от дома кузнеца к храму тянулся след. Влажный. Тёмный. Не след ног — след тела. Как будто кто-то полз. Или тек. Или растекался. След был живым — он двигался, пульсировал, как вена, как река, как что-то, что течёт и не может остановиться, потому что течение — это его природа.

Тэруо побежал по следу. Босой. По снегу, который был холодным — холодным! впервые за дни — холодным, как снег,

как зима, как мир, который ещё работал, который ещё был настоящим, в котором ещё было холодно и горячо и больно и страшно. Он бежал и чувствовал: холод — это хорошо. Холод — это жизнь. Холод — это то, что отличает стоящего от растаявшего.

След вёл к храму.

Не к двери — к *ступеням*. К тем самым ступеням, на которых сидела девочка. На которых её нашли. На которых она ждала сорок один день, пока метель — пока *она* — откроет рот. След вёл к ступеням и исчезал. Не обрывался — исчезал. Впитывался. Как вода впитывается в землю. Как кровь впитывается в бинт. Как имя впитывается в забытьё.

Тэруо поднялся по ступеням. Мокрым. Тёплым. Живым. И остановился.

Девочка сидела.

В том же месте. В той же позе. Руки на коленях. Кимоно — белое. Глаза — пустые. Она не двигалась. Она не пела — мелодия звучала, но не из её рта. Из земли. Из дерева. Из воздуха. Из всего, что было вокруг — кроме неё. Она была источником, но не игроком. Она — была мелодией, но не пела её. Мелодия пела *её*. Мелодия использовала её, как сямисэн используют струну: струна не играет — струна звучит, потому что её трогают.

И рядом с ней — у её ног, на мокром дереве, на тёплых ступенях — лежал Рэн.

Нет. Не лежал. Рэн — растекался. Тэруо увидел это и

мир остановился. Время остановилось. Дыхание остановилось. Сердце — остановилось. Рэн лежал на спине, глаза открыты, улыбка на лице — та самая, не его, мелодии — и его тело... его тело было не телом. Оно было водой. Прозрачной, тёплой, блестящей в лунном свете. Рэн растекался по ступеням, как пролитый чай, как роса, как слеза, которая катится по щеке и падает, и впитывается, и исчезает. Его руки — уже не руки. Его ноги — уже не ноги. Его лицо — уже не лицо. Только улыбка. Улыбка осталась последней. Как отпечаток. Как подпись. Как доказательство того, что здесь был человек.

Тэруо закричал.

Без звука. Крик вышел из него, как воздух из проткнутого шара, — бесшумно, бесформенно, бесполезно. Он упал на колени рядом с тем, что было Рэном, и коснулся — воды. Вода была тёплой. Вода была — Рэн. Вода была — его тепло, его кожа, его четыре года, его «белое смотрит», его «она откроет сама», его одеяло, его слёзы без слёз. Вода была — всё, что осталось от мальчика, который пошёл на зов, потому что не знал, как не идти.

Вода потекла вниз. По ступеням. По снегу. К храму. Внутрь. Туда, где тарелка Фудзико ждала тёплая, где алтарь был мокрым, где татами — живые. Вода впитывалась в дерево, в камень, в землю, и земля — принимала. Глотала. Переваривала.

Девочка посмотрела на Тэруо.

Белые глаза. Пустые. Без зрачков. И в них — в который раз — он увидел себя. Маленького. Молодого. Стоящего на склоне Фудзи. Босого. С открытым ртом. Но на этот раз — он не видел мелодии, которая выходила из его рта. На этот раз он видел: из его рта выходил Рэн. Маленький, босой, с улыбкой. Тэруо выплёвывал Рэна, как выплёвывают воду, и Рэн тек по склону, вниз, в темноту, в пасть, которая была горой, которая была голодом, которая была — всем.

Тэруо отдёргнул руки. Закрыв глаза. Сжал кулаки. Кулаки — мокрые. Кулаки — тёплые. Кулаки — Рэн. Он сжимал Рэна в кулаках и не мог разжать, потому что Рэн был везде — на пальцах, на ладонях, на запястьях, тёплый, густой, сладковатый, живой, мёртвый, растаявший, исчезнувший.

Утром Синада не нашёл сына.

Футон — пустой. Татами — мокрые. След — влажный, извилистый, как река, которая помнит, куда ей течь, — тянулся от футона к двери. К двери дома. От двери дома — по снегу, который растаял кругом, ровным, идеальным кругом, как нарисованным. От круга — к храму. К ступеням. К ней.

Синада стоял в дверях и смотрел на след. Его руки — большие, в шрамах, в мозолях, руки, которые держали молот и наковальню, которые ковали железо и делали его послушным, — дрожали. Не от холода. От понимания. Кузнец, который умеет читать металл, который видит в железе то, что

не видят другие, — этот кузнец видел в следе то, чего не видел никто. Он видел: след был не след. След был тело. Его сына тело. Растекшееся. Вытекшее. Ушедшее.

Синада не закричал. Не заплакал. Не побежал. Он стоял и смотрел. И его лицо — широкое, загорелое, обветренное, лицо человека, который всю жизнь работал руками и верил, что руки могут всё, что железо можно выпрямить, что дерево можно починить, что сломанное можно собрать — его лицо старело. Не от времени. От понимания. В одно мгновение Синада постарел на двадцать лет, потому что понял: есть вещи, которые нельзя починить. Есть вещи, которые нельзя собрать. Есть вещи, которые нельзя — никак. И одна из этих вещей — его сын. Рэн. Четыре года. Босой. С улыбкой, которая была не его.

Тэруо пришёл на рассвете. Он шёл по следу — обратному, от храма к дому — и ноги его не оставляли отпечатков. Не потому, что он был лёгким. Потому что снег под ним не держал. Снег был мокрым. Тёплым. Живым. Снег был — Рэн. Везде. Рэн был везде — в снегу, в земле, в дереве, в воздухе, в запахе, который Тэруо не мог перестать чувствовать. Сладковатый. Густой. Тёплый. Запах, который был не запахом, а памятью о ребёнке, который растаял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.